

- [Габриэль Гарсиа Маркес](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

## Габриэль Гарсиа Маркес

### Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке

Эрендира купала свою бабушку, когда поднялся ветер ее несчастья. От первого удара содрогнулся до самого основания мертвенно-серый, грубо оштукатуренный дом, затерянный в песках пустыни. Но Эрендира и ее бабка, привычные ко всяческим причудам бесноватой природы, едва ли заметили ураганный ветер, занимаясь столь серьезным делом в ванной комнате с узорной полосой одинаковых павлинов и нехитрой мозаикой в стиле романских бань.

Громадная голая бабка возлежала в глубоком мраморном корыте, точно прекрасная белая самка кита. Внучке только-только исполнилось четырнадцать лет, она была тоненькая, с мягкими косточками и смиренная, безответная не по годам. Сосредоточенно, как бы совершая священный обряд, она поливала бабушку водой, где прокипели целебные травы и благовонные листья, и они прилипали к бабкиной мясистой спине, к распущенным волосам, жестким, как проволока, к могучему плечу с татуировкой похлеще, чем у бывалых моряков.

— Мне снилось, что я жду письма, — сказала бабка.

Молчаливая Эрендира, которая открывала рот, лишь когда к ней обращались, спросила:

— Какой день был во сне?

— Четверг.

— Значит, письмо с дурной вестью, — сказала Эрендира, — но мы его не получим.

После купанья она повела бабку в спальню. Старуха была такая толстая, такая грузная, что могла передвигаться, лишь опираясь на плечико Эрендиры или на величественный епископский жезл, но в каждом ее движении, которое она делала через силу, проступало застарелое исконное величие. В просторном алькове, убранном без всякого чувства меры, с той бредовой роскошью, какой отличался весь дом, Эрендира полных два часа

возилась с бабкой — распутала прядка за прядкой ее волосы, расчесала их, надушила, натянула на нее платье в экзотических цветах, подкрасила губы кармином, навела румяна на щеки, припудрила лицо тальком, положила на веки темный муксус, покрыла ногти перламутровой эмалью, и, когда бабка стала похожа на раскрашенную огромную, больше человека, куклу, отвела ее в сад с искусственными удушливыми цветами, в точности такими же, как на платье, и, усадив в глубокое кресло, оставила в одиночестве слушать заезженные граммофонные пластинки.

Пока бабушка плавала в тенистых заводях своего прошлого, Эрендира убирала дом — мрачный, сумбурный, с причудливой мебелью, статуями вымышленных цезарей, алебастровыми ангелами, каскадом хрустальных люстр, раззолоченным роялем и несметным количеством часов самых немыслимых форм и размеров. В углу патио была врыта в землю глубокая цистерна, где издавна хранилась вода, которую на своем горбу таскал из дальнего источника индеец-слуга. Привязанный к массивному кольцу крышки, которой накрывалась цистерна, скучал хилый страус — единственное существо в перьях, которому удалось выжить в этом гибельном климате. Дом стоял в самом сердце безлюдной пустыни, возле крохотного поселка с унылыми раскаленными улочками, где лишали себя жизни сивые козлы, когда налетал тоскливый ветер несчастья.

Это странное убежище выстроил бабкин супруг, легендарный контрабандист по имени Амадис, От которого она родила единственного сына и нарекла Амадисом в честь отца. Второй Амадис и стал отцом Эрендиры. Никто толком не знал, как и почему появилось здесь это семейство. Среди индейцев жил упорный слух, что первый Амадис вызволил красавицу жену из публичного дома, на Антильских островах, где зарезал насмерть какого-то человека, и укрылся с ней в равнодушных к правосудию песках пустыни. Когда Амадисы умерли — один от разъедающей душу лихорадки, другой, изрешеченный пулями в каком-то нелепом споре с соперником, — бабка похоронила обоих прямо в патио, прогнала четырнадцать босоногих служанок, однако по-прежнему лелеяла свои властолюбивые мечты в сумраке одинокого дома, потому что ей жертвенно служила Эрендира, незаконная внучка, которую она взяла к себе с первых дней ее появления на свет божий.

У Эрендиры уходило полдня только на то, чтобы завести и сверить все часы. Правда в то роковое утро, когда начались ее несчастья, ей не пришлось это делать, часы были заведены до следующего утра, но зато она искупала и передела бабку, перемыла все полы, сварила обед и перетерла весь хрусталь. Часов в одиннадцать, когда она сменила страусу воду в ведре

и полила чахлую травку на могилах лежавших рядом Амадисов, ее чуть не сбило с ног бешеным ветром, который метался из стороны в сторону, но она не угадала в том дурного знака, не учуяла, что это ветер ее несчастья. В полдень, протирая последние бокалы для шампанского, Эрендира уловила вдруг сладковатый запах бульона и опрометью бросилась на кухню, каким-то чудом не разбив венецианское стекло.

Еще бы чуть — и вся пена вылилась из кастрюли на плиту. Сняв кастрюлю с огня, Эрендира поставила томить мясо, приготовленное загодя, и, урвав свободную минуту, села на кухонный табурет. Она закрыла глаза и тут же открыла, но в них уже не было никакой усталости. Она принялась переливать бульон в огромную супницу, и делала это уже не бодрствуя, а во сне.

Бабка одиноко восседала во главе огромного банкетного стола, уставленного серебряными подсвечниками и накрытого на двенадцать персон. Едва затенькал колокольчик, Эрендира примчалась в столовую с дымящейся супницей. Пока она наливала суп в тарелку, бабушка заметила, что она движется в забытьи, как сомнамбула, и провела ей рукой по глазам, как бы протирая незримое стекло, но девочка не увидела бабкиной руки. Старуха следила за ней сторожким взглядом и, когда Эрендира направилась в кухню, окликнула:

— Эрендира!

Резко проснувшись, девочка уронила супницу на ковер.

— Пустяки, детка, — сказала бабушка почти ласково. Ты просто спишь на ходу.

— У меня все само засыпает, — виновато прошептала Эрендира. Она подняла супницу и стала оттирать пятна, с трудом выбираясь из сонного дурмана.

— Брось, — пожалела ее бабка, — вечером отмоешь.

Вот так, вдобавок ко всем вечерним делам Эрендира отмывала ковер и заодно перестирала в кухонной раковине всю смену белья, отложенную на понедельник. А меж тем ветер кружил и кружил у дома, пытаясь проникнуть через какую-нибудь щель. Столько всего переделала за вечер Эрендира, что и не заметила, как стемнело и лишь когда расстелила наконец в столовой отмытый ковер, поняла, что давно уже время спать.

Всю вторую половину дня бабка для собственной услады брэнчала на рояле, выводя пронзительным высоким голосом песни своей молодости, и бурый мускус размазался на ее веках от прочувствованных слез. Но едва она легла в постель в ночной сорочке из тончайшего муслина, как улетучилась вся горечь воспоминаний о невозвратных временах.

— Выбери утром полчаса и почисти ковер в прихожей, — сказала она Эрендире, — он не жарился на солнышке с давних времен.

— Хорошо бабушка, — ответила девочка.

Она взяла веер из страусовых перьев и стала обмахивать беспощадную величественную старуху, а та, медленно погружаясь в сон, перечисляла на память весь свод вечерних дел.

— Не ложись, пока не перегладишь белье, иначе сон будет не сон.

— Хорошо, бабушка.

— Пересмотри как следует все платяные шкафы, ночью при ветре моль очень прожорлива.

Хорошо, бабушка.

— Останется время — вынеси в патио все цветы, пусть подышат.

— Хорошо, бабушка.

— И покорми страуса

Бабка уже спала крепким сном, но все еще отдавала распоряжения. Собственно, от нее внучка унаследовала эту способность — спать и одновременно бодрствовать. Выскользнув из спальни, Эрендира принялась за дела, которые поручала спящая бабушка.

— Полей как следует цветы на могилах.

— Хорошо, бабушка.

— Перед сном приведи все в полный порядок, вещи на чужих местах плохо спят.

— Хорошо, бабушка.

— И если вдруг нагрянут Амадисы, предупреди, пусть не ночуют, — сказала бабка. — Шайка Галана хочет их прирезать. Объясни все.

Эрендира не отвечала, зная, что бабка уже путается в бреду, но безотказно выполняла все поручения. Проверив шпингалеты на окнах, потушив повсюду свет, она взяла из столовой канделябр с зажженной свечкой и по дороге прислушалась к мерному, могучему дыханию бабки, которое разносилось по всему дому, когда стихал ветер.

У Эрендиры была нарядная спальня, пусть не такая, как у бабушки, но зато с тряпочными куклами и заводными игрушками из недавнего детства. Вымотанная за день до полусмерти, Эрендира не нашла в себе сил раздеться и, поставив канделябр со свечой на ночной столик, упала на постель. Вскоре Ветер ее несчастья ворвался в спальню сворой разъяренных собак и опрокинул горящую свечку прямо на занавеску.

На рассвете, когда ветер наконец улегся, застучали тяжелые, крупные капли дождя, которые пригасили тлевшие угли и прибили дымящийся

пепел — все, что осталось от старого огромного дома. Крестьяне, большей частью индейцы, старались выудить хоть что-нибудь из пожарища и снесли в кучу обугленный труп страуса, раму позолоченного рояля, торс от какой-то статуи. Бабка скорбно, отрешенно таращилась на жалкие останки своего богатства. Эрендира сидела между могилами Амадисов и уже не плакала. Когда бабка окончательно и бесповоротно уверилась, что в грудке обгорелых обломков нет ничего путного, она посмотрела на внуку с самым искренним состраданием.

— Бедная моя девочка, — вздохнула бабка, — тебе до конца жизни не расплатиться со мной за такие убытки.

Эрендира начала расплачиваться в тот же день, когда под назойливый шум дождя бабка свела ее к щуплому и прежде времени овдовевшему лавочнику: его хорошо знали в пустыне как большого охотника до нетронутых девочек, за которых он платил не скупясь. На глазах у невозмутимой бабки скороспелый вдовец с научной взыскательностью осмотрел Эрендиру, оценил упругость ее ляжек, величину груди, диаметр бедер. И пока не подсчитал в уме, что она стоит, не проронил ни слова.

— Она еще совсем зеленая, — произнес он. — У нее грудки остряты, как у сучки.

Он поставил Эрендиру на весы, чтобы цифры подтвердили его правоту. Девочка весила сорок два килограмма.

— Красная цена ей сто песо, — твердо сказал вдовец. Бабка возмутилась.

— Сто песо за такую истоптанную курочку! — ахнула она. — Ну, любезный, у тебя, оказывается, нет никакого уважения к целомудрию

— Сто пятьдесят песо.

— Эта девочка причинила мне ущерба больше чем на миллион песо, — вздохнула бабка. — Если так пойдет дело, ей не расплатиться со мной и за двести лет.

— К ее счастью, — заметил лавочник. — При ней ее молодость.

Буря грозила разнести дом в щепки, и в потолке было столько дыр, что хлестало, как на улице. Бабка почувствовала себя совершенно одинокой в бесприютном мире крушений.

— Добавь до трехсот, — наседала она.

— Двести пятьдесят.

В конце концов сошлись на двухстах двадцати с харчем. Бабка велела Эрендире идти к лавочнику, и тот повел ее за руку в складское помещение, точно первоклассницу в школу.

— Я подожду тебя здесь, — сказала Старуха.

— Хорошо, бабушка, — проговорила Эрендира.

Склад мало походил на склад, что-то вроде навеса с крышей из сотлевших пальмовых листьев, на четырех кирпичных столбах, обнесенный глинобитной метровой стеной, которая нисколько не спасала от ненастья. На кирпичном выступе стояли кадучки с кактусами и другими колючками. Привязанный к двум столбам, болтался выцветший гамак, надуваясь ветром, словно парус рыбацкой лодки. Сквозь раскатистый свист грозы и обвальный шум дождя пробивались приглушенные крики, истошный вой, разноголосье катастрофы.

Войдя в эту жалкую постройку, вдовец и Эрендира едва удержались на ногах от удара косога ветра с дождем, который вымочил их до нитки. Они не слышали друг друга, и движения их сделались четче в реве неистовой стихии. При первой попытке вдового лавочника Эрендира заорала позвериному и рванулась в сторону. Вдовец молча заломил ей руки за спину и поволок к гамаку. Изловчившись, она расцарапала ему лицо и зашлась беззвучным криком. А он в ответ вlepил ей такую величественную пощечину, что она как бы оторвалась от земли, и ее длинные волосы зазмеились в воздухе. Вдовец взял ее под лопатки, не дав встать на ноги, резким ударом повалил в гамак и так прижал коленкой, что она не могла шелохнуться. Вот тут ее обуял ужас, она потеряла сознание и в каком-то забытии увидела лунную бахрому рыбки, проплывавшей в грозовом воздухе. А вдовец тем временем сдергивал с нее одежду лоскутками, точно молодую траву, и эти тонкие лоскуты, подхваченные ветром, взвивались вверх, как разноцветный серпантин.

Когда в селении не осталось ни одного мужчины, готового заплатить хоть самую малость за любовь Эрендиры, бабка повезла ее на грузовике в края контрабандистов. Они устроились в открытом кузове, среди мешков с рисом и банок с оливковым маслом, прихватив с собой остатки былой роскоши: спинку вице-королевской кровати, обгорелого ангела с мечом и еще какую-то дребедень. В бауле, на котором малярной кистью были выведены два креста, они везли кости Амадисов.

Прячась от неистового солнца под обтрепанным зонтом, бабка вся в липком поту, задыхалась от мучительной пыли, но даже теперь, попав в такую переделку, она держалась с победным достоинством. За стеной банок и мешков Эрендира расплатилась с грузчиком за дорогу и провоз вещей. Поначалу она яростно оборонялась, как в тот раз, когда на нее набросился молодой вдовец. Но у грузчика был совсем иной подход: он действовал не спеша, и умело взял ее лаской. Так что когда бабка после всех мытарств и жарыни увидела, что они наконец подъезжают к первому

городку, Эрендира с молодым грузчиком безмятежно отдыхали от сладких утех за горами банок. Водитель крикнул бабке:

— Вот здесь и туда дальше живут люди.

Бабка недоверчиво обвела глазами жалкие пустынные улочки селения, которое, может, было чуть больше того, откуда они уехали, но совершенно такое же унылое и неприглядное.

— Что-то не видать! — сказала она.

— Это территория миссионеров.

— Лично мне нужны контрабандисты, а не Божьи посланники, — буркнула бабка.

Прислушиваясь к их разговору, Эрендира сунула пальчик в мешок с рисом. Неожиданно она нащупала нитку и, потянув, вытащила длинное ожерелье из натурального жемчуга. Она держала его двумя пальцами, словно дохлую гадюку, а водитель тем временем выговаривал бабушке:

— Да что за небылицы, сеньора. Здесь и в помине нет контрабандистов.

— Как это нет! — ехидно усмехнулась бабка. — Расскажи кому другому!

— Ну ищите на здоровье, может, попадутся, — добродушно хохотнул водитель. — О них болтают кому не лень, а чтоб видеть — никто!

Грузчик, заметив ожерелье в руке Эрендиры, выхватил его и снова засунул в мешок с рисом. В эту минуту бабка, решившаяся все-таки остаться в убогом городке, окликнула Эрендиру, чтобы с ее помощью слезть с грузовика. Эрендира поцеловала молодого грузчика второпях, но пылко и как надо.

Сидя на троне посреди пустыря, бабка следила, как сгружают ее имущество. Последним оказался баул с останками Амадисов.

— Ну и тяжесть! Внутри, случаем, не покойник? — усмехнулся водитель.

— Два покойника, — отчеканила бабка. — Так что обращайся с ними уважительно.

— Бьюсь об заклад — там две мраморные статуи, — хохотнул водитель.

Он без всякого почтения бросил баул в кучу с обгорелой, изломанной мебелью, а потом подставил старухе ладонь.

— А где пятьдесят песо?

Бабка кивнула в сторону грузчика.

— Твой работничек получил сполна.

Водитель озадаченно посмотрел на молодого парня, и тот согласно



кивнул головой. Помолчав с минуту, водитель поднялся в кабину, где сидела женщина в трауре с малышом на руках, который безутешно плакал от нестерпимого зноя. И вот тут грузчик, человек весьма решительный и уверенный в себе, сказал:

— Эрендира, с вашего позволения, поедет со мной. Все будет честь по чести.

Девочка испуганно пролепетала:

— Я ни о чем таком не просила...

— Да я сам решил, это моя воля, — сказал грузчик.

Бабка оглядела его с ног до головы, но не уничижительно, а как бы прикидывая в уме: чего стоит подобная решимость.

— Лично у меня нет никаких возражений, — заявила она, — если уплатишь за все, что я потеряла по ее безалаберности... Восемьсот семьдесят две тысячи пятнадцать песо за вычетом четырехсот двадцати, которые она уже выплатила, итого, стало быть, восемьсот семьдесят одну тысячу восемьсот девяносто пять.

Грузовик рванул с места.

— Клянусь, я бы выложил эту кучу денег, кабы они у меня были, — с самым серьезным видом сказал парень. — Девочка того стоит.

Бабке пришлось по душе щедрость молодого человека.

— Возвращайся, сынок, когда разбогатеешь, — ответила она ласковым голосом. — А сейчас, милый, проваливай с Богом. Если по совести, так ты мне должен десять песо.

Грузчик на ходу вскочил в кузов и махнул рукой Эрендире, но она со страху даже не ответила.

На пустыре, где остановился грузовик, они возвели что-то вроде шатра из остатков восточных ковров и цинкового листа. Постелили на землю две маленькие циновки и спали всю ночь ничуть не хуже, чем в том мертвенно-лунном особняке, пока солнце, проникшее сквозь щели, не напекло им лица.

В то утро, против всякого обыкновения, бабушка сама занялась Эрендирой. Она разрисовала ей лицо, сообразуясь с тем стилем роковой, зловещей красоты, какой был в моде во времена ее молодости, потом приклеила Эрендире накладные ресницы и повязала на голове бант из органди, напоминавший большую бабочку.

— Ты страшна, как смертный грех, — задумчиво протянула бабка. — Но именно это и требуется, потому что мужчины мало что смыслят в женской красоте.

Сначала они слышали, а потом намного позже увидели, как устало

ступают мулы по кремнистой дороге. Эрендира по приказу бабки тотчас легла на плетеную циновку в той позе, какую бы приняла молодая дебютантка перед поднятием занавеса. И тогда, опираясь на свой епископский жезл, бабка вышла и уселась на трон в ожидании первой добычи.

Путник оказался разносчиком почты. Ему было не больше двадцати, но выглядел он старше, как-никак солидная должность. Он был в хаки, в гетрах, а на голове пробковый шлем и за поясом — револьвер. Сидя на добром покладистом муле, почтарь вел в поводу второго мула, не такого ладного, навьюченного мешками.

Поравнявшись с бабкой, он кивнул ей и двинулся было дальше. Но старуха мигнула с таинственным видом, мол, загляни туда, внутрь. Развозчик почты остановился и увидел Эрендиру, лежавшую на циновке в платье с траурной фиолетовой каймой, точно у покойницы.

— Нравится? — спросила бабка.

Парень вдруг смекнул, какой предлагают товар.

— Сойдет с голодухи, — ухмыльнулся он.

— Пятьдесят песо.

— Фью-ить! — присвистнул почтарь. — Она что, из чистого золота? Да за эти деньги я буду есть и пить в свое удовольствие целый месяц.

— Не жмись! — сказала бабка. — У вас, на авиапочте платят больше» чем священникам.

— Да я то вожу простую почту. У авиапочты — грузовичок.

— Говори, говори, а без любви, что без еды, — наседала бабка.

— Одной любовью сыт не будешь.

Старуха меж тем поняла: человеку, живущему за счет чужих надежд, не жаль времени, он будет торговаться до упора.

— Сколько у тебя с собой? — спросила она.

Почтарь прыгнул на землю, извлек из кармана несколько мятых-перемятых бумажек и показал их бабке.

— Я сбавлю, — сказала она, — но вот мое условие: пусть о нас узнают повсюду.

— Узнают и на другом краю света, будьте уверены, — сказал молодой человек. — Распишу в лучшем виде.

Эрендира сняла накладные ресницы — они не позволяли моргать и отодвинулась на самый край циновки, освобождая место очередному партнеру, охочему до любви. Едва он вошел в «покои», бабка резко задернула за ним занавесь, служившую дверью.

Сделка оказалась очень выгодной. Распаленные рассказами служителя

почты, понаехали из дальней дали мужчины, дабы самим увериться в прелестях Эрендиры. Вслед за ними торговцы привезли киоски со снедью, появились столы с лотереей, а последним примчался на велосипеде фотограф, который поставил в этом шумном стойбище свой фотоаппарат на штативе под траурной накидкой, а чуть поодаль — укрепил полотно с нарисованными лебедями, уныло плывущими по ядовито синему озеру.

Бабка обмахивалась веером, восседая на своем троне, ей будто и дела не было до всей этой суматохи. Единственное, что ее интересовало — это порядок в очереди клиентов и правильность суммы, которую она взимала за вход к Эрендире. Поначалу бабка была слишком строга и чуть не отказала хорошему клиенту, которому не хватало пяти песо. Но через месяц-другой она усвоила уроки суровой действительности, а под конец принимала в доплату образки святых, семейные реликвии, обручальные кольца — словом всякие золотые вещицы, которые она пробовала на зуб, если они не блестели.

За время, проведенное в городке, старуха собрала порядочно денег и, купив ослика, углубилась в пустыню, надеясь на более прибыльные места. Она восседала на носилках, привязанных к спине ослика и пряталась от недвижимого солнца под скособоченным зонтиком, который держала над ней семенившая рядом Эрендира. Позади шли четверо индейцев и несли все, что осталось от шумного стойбища, — спальные циновки, подновленный трон, алебастрового ангела и баул с костями двух Амадисов. Вслед за караваном ехал на велосипеде фотограф, однако держался на почтительном расстоянии, как бы показывая, что ему с ними не по дороге.

Через полгода после пожара бабка составила для себя точное представление о ходе дел.

— Если так пойдет дальше, — сказала она Эрендире, — ты расплатишься со мной через восемь лет, семь месяцев и одиннадцать дней.

Она пересчитала все в уме, закрыв глаза и не переставая жевать зерна маиса, которые вытаскивала из пришитой к поясу сумки, где прятала деньги.

— И учти, я не беру в расчет затраты на индейцев и прочую мелочь.

Сморенная тяжелым зноем и густой пылью, Эрендира, еле поспевавшая за осликом, безропотно слушала бабкины рассуждения и подсчеты и едва сдерживала слезы.

— У меня в костях толченное стекло, — проговорила девочка.

— Постарайся поспать на ходу, — посоветовала старуха.

— Хорошо, бабушка.

Эрендира закрыла глаза, глубоко вдохнула обжигающий воздух и зашагала, проваливаясь в сон.

Фермерский грузовичок, забитый птичьими клетками, катил по дороге, распугивая длиннобородых козлов, которые исчезали в клубах пыли где-то позади, и гомон птиц звучал, как струя свежей воды в знойном воскресном дурмане, окутавшем городок Святого Михаила Пустынника. За рулем сидел раздобревший фермер-голландец с задубелой от ветров кожей и медно-рыжими усами, унаследованными от одного из прадедов. Рядом с ним сидел его первородный сын Улисс — золотистый юноша с отрешенными глазами цвета морской волны, похожий на падшего ангела. Голландец сразу заметил походную палатку, возле которой в длинную очередь выстроились солдаты местного гарнизона. Многие сидели на земле и передавали друг другу бутыл, из которой отпивали по глотку. Головы солдат были прикрыты ветками миндаля, точно они прятались в засаде перед решительным боем.

Голландец спросил на своем заморском языке:

— За каким чертом здесь очередь?

— За женщиной, — простодушно ответил сын. — Ее зовут Эрендира.

— А ты-то откуда знаешь?

— В пустыне все это знают.

Голландец вышел из машины возле заезжего дома, а Улисс, чуть задержавшись, ловкими быстрыми пальцами открыл отцовский портфель, брошенный на сиденье, вытащил оттуда пачку денег и рассовал их по карманам. Той же ночью, когда отец крепко спал, он вылез в окно и, примчавшись к палатке Эрендиры встал в очередь.

Вокруг шло великое гулянье. Пьяные в дым новобранцы плясали друг с дружкой, чтобы не пропадала дармовая музыка, а неутомимый фотограф щелкал всех желающих, освещая ночную тьму вспышками магния. Строго надзирая за очередью, бабка бросала деньги в подол, потом раскладывала их ровными стопками и прятала в корзину. Солдат осталось с дюжину, но зато прибавились гражданские. Улисс был крайним. У самого входа нетерпеливо топтался солдат с угрюмым лицом.

— Не-ет, милейший, ты не войдешь ни за какие сокровища! Ты траченный.

Солдат был из дальних мест и потому не понял.

— Как это?

— Ты порчун, по твоему лицу видать, — сказала бабка, — красоту изведешь и все!

Она отогнала его, даже не притронувшись к нему рукой.

— Давай ты, сержантик, — обратилась она к следующему, добродушно усмехаясь. — И не особо задерживайся, родина тебя ждет.

Сержантик вошел внутрь, но тут же вышел, потому что Эрендира взмолилась, чтобы позвали бабушку. Старуха повесила на руку корзину с деньгами и скрылась в палатке, где было тесно, но уютно и прибрано. В глубине на раскладушке пластом лежала измученная, грязная от солдатского пота Эрендира. Ее била мелкая дрожь.

— Бабушка! — зарыдала она. — Я умираю.

Старуха тронула внучкин лоб и, убедившись, что жара нет, принялась ее утешать:

— Да там всего ничего. С десяток солдат, — сказала она.

Эрендира заплакала, нет, не заплакала, а завывала, как загнанное животное, и тогда старуха, сообразившая, что девочка переступила порог страха, принялась гладить ее по голове, приговаривая:

— Ну будет, будет... Вся беда в том, что ты пока малосильная, — сказала она. — Не плачь, умойся лучше настоем шалфея. Он освежает кровь.

Когда Эрендира затихла, старуха вышла на улицу и вернула сержантику деньги.

— На сегодня все, ребята! — крикнула она. — Завтра в девять, милости просим.

Солдаты и гражданские, сломав очередь, стали выкрикивать угрозы. Но бабка взмахнула своим жезлом и дала им решительный отпор.

— Ах вы изверги! Аспиды ненасытные! — надрывалась она. — Вы что думаете, она у меня железная? Вас бы на ее место! Хриstopродавцы. Кобелишки поганые!

В ответ понеслась куда более сочная брань, но бабка сумела взять верх над бунтовщиками и сторожила палатку, опираясь на грозный жезл, наблюдая, как торговцы уносят лотки с жареной требухой и столы с лотереей. Старуха было направилась к двери, как вдруг заметила Улисса, одиноко стоявшего в темноте, где только что орали разъяренные мужчины. Юноша был окаймлен зыбким ореолом и как бы выступал из ночного мрака в дивном сиянии собственной красоты.

— Ну а ты? — спросила бабка. — Где забыл свои крылья?

— Крылья были у моего дедушки, — ответил Улисс с присущей ему непосредственностью. — Только никто не верит.

Старуха глядела на него неотрывным зачарованным взглядом.

— Лично я верю, — сказала она, — утром приходи с ними. Она

исчезла в палатке, оставив на улице взволнованного Улисса. Эрендире немного полегчало после шалфея. Она надела коротенькую вышитую сорочку, но вытирая волосы, еле сдержалась, чтобы снова не удариться в слезы. А бабка уже спала мирным сном.

Из— за постели Эрендиры медленно выросла голова Улисса. Девочка увидела жаркие прозрачные глаза, но прежде чем выговорить слово, утерла полотенцем лицо, чтобы увериться, что это — не призрак. Когда Улисс хлопнул ресницами, Эрендира еле слышно спросила:

— Ты кто?

Улисс приподнялся.

— Меня зовут Улисс, — прошептал он. И, протянув ей украденные банкноты, добавил: — Вот деньги.

Эрендира оперлась обеими руками о кровать, приблизила свое лицо к лицу Улисса и заговорила с ним так, словно у них веселая ребячья игра.

— Ишь какой! Встань-ка в очередь, — сказала она.

— Я стоял всю ночь, — проговорил он.

— А-а, значит жди теперь до утра, — сказала она. — Мне знаешь как больно! Будто у меня все почки отбиты.

В эту минуту во сне заговорила бабка.

— Вот уже двадцать лет, как не было дождя, — бормотала она. — А тогда разразилась такая гроза, что ливень смешался с морской водой, и наутро, когда мы проснулись, в доме было полно рыбы и ракушек, и твой дед Амадис, царство ему небесное, своими глазами видел, как по воздуху проплыл лучистый спрут.

Улисс снова спрятался за кровать. Но Эрендира озорно улыбнулась.

— Да не бойся, — сказала она. — У бабушки во сне путаются мысли, она не проснется, даже если дрогнет земля.

Улисс снова вырос. Эрендира посмотрела на него весело, с чуть заметной ласковой и лукавой улыбкой и убрала с постели несвежую простынь.

— Ну-ка, — сказала она, — помоги мне сменить белье.

Вот тут Улисс смело вышел из-за кровати и взял простыню за оба конца. Простыня была куда шире чем надо, и Эрендире с Улиссом пришлось складывать ее несколько раз. Складывая, они все приближались друг к другу.

— Мне до смерти хотелось тебя увидеть, — сказал он вдруг. — Кругом говорят, что ты несказанная красавица и это так и есть.

— Но я скоро умру, — вздохнула Эрендира.

— Моя мама говорит, что те, кто умирают в пустыне, попадают в море,

а вовсе не на небо.

Эрендира свернула грязную простыню и положила чистую, выглаженную.

— А я никогда не видела моря... Какое оно?

— Как пустыня, но вместо песка вода, — сказал Улисс.

— Значит, по нему нельзя ходить?

— Мой папа знал одного человека, который умел ходить по воде, — сказал он. — Только это было давным давно.

Эрендира слушала, как зачарованная, но ее клонило в сон.

— Приходи рано утром — и будешь первым, — предложила она.

— Мы с отцом уезжаем на рассвете, — сказал Улисс.

— И больше не вернетесь?

— Кто знает, — ответил Улисс. — Мы тут совсем случайно, просто сбились с дороги у границы.

Эрендира задумчиво посмотрела на бабушку.

— Ладно! — решила она. — Давай деньги.

Улисс протянул ей все бумажки. Эрендира улеглась на постель, но юноша не тронулся с места, в самую ответственную минуту он оробел. Эрендира потянула его за руку, мол поторопись, но тут заметила его смятение. Ей хорошо был знаком этот страх.

— Ты в первый раз? спросила она.

Улисс не ответил, лишь улыбнулся потерянно и виновато.

— Дыши медленно, — сказала она. — Такое бывает поначалу, а потом хоть бы что.

Она уложила его рядом, и раздевая, успокаивала тихо, по-матерински.

— Как тебя зовут?

— Улисс.

— Имя совсем не наше, как у гринго.

— Нет, как у мореплавателя.

Эрендира раздела его до пояса, покрыла грудь мелкими поцелуями и принюхалась к коже.

— Ты будто из золота, — удивилась она. — А пахнешь цветами.

— Нет, апельсинами, — сказал Улисс. И сразу успокоившись, загадочно улыбнулся. — Птица — это для отвода глаз. — добавил он. — На самом деле мы контрабандой возим через границу апельсины.

— Разве апельсины — контрабанда?

— Наши да! — сказал Улисс. — Каждый стоит пятьдесят тысяч песо.

Эрендира впервые за долгое время весело рассмеялась.

— Что мне больше всего в тебе нравится, — сказала она, — это, как ты

всерьез рассказываешь всякие небылицы.

Она вдруг сделалась разговорчивой, оживленной, будто от слов целомудренного Улисса изменилось не только ее настроение, но и вся ее жизнь. Рядом, в самой близи от неотвратимого рока бредила спящая бабка Эрендиры.

— В ту пору, в первых числах марта, — бормотала она, — тебя принесли домой, — бормотала она. — Ты была похожа на ящерику, завернутую в пеленки. Амадис, твой отец, еще молодой и красивый так ликовал в тот день, что велел загрузить цветами двадцать повозок и ехал по городу, разбрасывая цветы и крича от радости. Весь город стал от цветов золотистым, как море.

Она бредила исступленно, с неослабной страстью, несколько часов кряду. Но Улисс ничего не слышал, потому что Эрендира любила его так горячо, так искренне, что потом любила за полцены, а потом, пока бабка пребывала в чадном бреду, задаром и до самого рассвета.

Миссионеры, подняв распятия, плечо к плечу встали посреди пустыни. Ветер, такой же свирепый, как ветер несчастья, трепал их монашеские платья из грубой шерсти, их клочковатые бороды и грозился сбить с ног. За миссионерами высилась их обитель в колониальном стиле с крошечной колокольней над суровыми белеными стенами.

Самый молодой миссионер, их глава, перстом указал на глубокую трещину в остекленевшей глине. — Эту черту не переступать! — крикнул он. Четыре индейца, что несли бабку в самодельном паланкине, сразу остановились. Бабке было уже невозможно сидеть в этом паланкине, ее замучили пыль и пот вязкой пустыни, но она держалась с прежним величием. Эрендира шла рядом. За паланкином гуськом следовали восемь тяжело нагруженных индейцев, а замыкал шествие неизменный фогограф на велосипеде.

— Пустыня ничья! — изрек старуха

— Она Богова, — ответил миссионер — А ваш богомерзкий промысел попирает святое учение.

Бабка тотчас распознала кастильское произношение и чисто кастильские обороты речи и ушла от лобового столкновения с миссионером, дабы не прогадать, не набить себе шишек о твердость его духа. Она заговорила по-свойски:

— Я не понимаю твоих загадок, сынок.

Миссионер кивнул на Эрендиру.

— Эта девочка несовершеннолетняя.

— Но она моя внучка!



— Тем хуже! — отрезал миссионер. — Отдайте ее под наше покровительство добром, иначе мы предпримем другие меры.

Бабка не ожидала такого поворота.

— Ах ты... ну ладно, ладно, — отступилась она в испуге. — Только я все равно здесь проеду, вот увидишь.

Спустя три дня после встречи с миссионерами, когда бабушка и Эрендира спали в ближайшей от монастыря деревушке, к их палатке осторожно и беззвучно, словно боевой патруль, подползли какие-то существа и проскользнули внутрь. Это были шесть индеанок-послушниц — сильные, молодые, в тонких полотняных одеждах, они как бы светились в лунном сиянии. Не задев тишины, послушницы накрыли Эрендиру москитной сеткой, подняли и, спящую, унесли, как большую гибкую рыбку, пойманную неводом.

Что только не делала бабушка, чтобы выманить внучку из убежища миссионеров. Лишь когда не оправдались все ее затеи, от самых простых, до самых хитроумных, она обратилась к алькальду, который единолично представлял все гражданские власти, будучи при высоком военном чине. Бабушка застала его в патио голого по пояс в тот самый час, когда он палил из ружья в маленькую тучку, одиноко темневшую в раскаленном небе. Он надеялся продырявить ее, дабы хлынул наконец дождь, однако прервал упорную и явно безуспешную стрельбу, чтобы выслушать старуху.

— Ничем не могу помочь, — сказал он в ответ. — Миссионеры, согласно конкордату, имеют полное право держать у себя девочку до совершеннолетия или пока не отдадут ее замуж.

— Ну а вас, собственно, зачем держат алькальдом? — спросила бабушка.

— Чтобы я добился дождя, — спокойно ответил алькальд. Уразумев, что тучка уже за пределами досягаемости, он окончательно прервал порученное ему дело и целиком занялся бабушкой.

— Вам прежде всего нужно найти важное лицо, которое за вас поручится, — сказал он. — Кто-нибудь, кто в письменном виде подтвердит вашу моральную устойчивость и ваше гуманное поведение. Вы, случаем, не знакомы с сенатором Онесио Санчесом?

Бабушка, сидящая под палящим солнцем на табурете, слишком узким для ее монументальных ягодиц, ответила злобно и торжественно:

— Я несчастная женщина, брошенная на произвол судьбы в этой бескрайней пустыне.

Алькальд жалостливо скосил на нее правый глаз, затуманенный от жары.

— Тогда не теряйте времени зря, сеньора, — сказал он, — поставьте на

этом крест.

Но не тут-то было: она поставила свою палатку, да еще прямо напротив монастыря, и села думать думу, будто некий воин-одиночка, взявший в осаду город-крепость. Бродячий фотограф, который уже вызнал характер старухи, приладил свои вещички к багажнику и собрался в путь, но вдруг увидел, как она сверлит глазами монастырь, сидя на самом солнцепеке.

— Поглядим-посмотрим, кто первый устанет, — сказала бабка, — я или он.

— Они здесь три сотни лет — и ничего, выдерживают, — бросил фотограф. — Так что я поехал.

Только тут старуха заметила велосипед с привязанной поклажей.

— Ты куда?

— Куда глаза глядят, — ответил фотограф, — свет велик.

Старуха вздохнула.

— Не так уж велик, как тебе думается, неблагодарный!

Она озлилась и даже не повернула головы в его сторону, боясь отвести взор от монастыря. Старуха не сводила с него глаз в течение многих дней, раскаленных добела, и многих ночей с шальными ветрами; она смотрела на монастырь неотрывно, даже в ту пору, когда там были Духовные упражнения и оттуда не выходила ни одна живая душа. Индейцы сделали возле палатки пальмовый навес и привязали там свои гамаки. Но бабка бодрствовала допоздна, восседая на троне, и, когда ее одолевал сон, она жевала и жевала зерна маиса с победной невозмутимостью отдыхающего быка.

Как— то ночью совсем рядом медленно проехала колонна крытых грузовиков, освещенных гирляндами цветных фонарей, которые придавали грузовикам призрачный вид, делали их похожими на алтари-сомнамбулы. Бабка тут же раскусила, в чем дело -они были в точности, как грузовики Амадисов. Последний, отстав от колонны, остановился, и из кабинки вылез водитель, чтобы поправить груз в кузове. Он удивительно напоминал Амадисов — та же шляпа с круто загнутыми полями, те же сапоги за колено, два патронташа крест-накрест, два револьвера и винтовка. Поддавшись искушению, бабка окликнула водителя.

— А знаешь, кто я?

Он навел карманный фонарик и, глядя на ее помятое от бессонных ночей лицо, на ее погасшие от усталости глаза, на спутанные волосы, увидел женщину, о которой вопреки возрасту и всем передрягам, вопреки безжалостному свету фонаря, можно сказать — да, она была в свое время

самой красивой женщиной на земле. Когда водитель удостоверился, что видит ее впервые, он погасил фонарик.

— Могу поручиться, вы не Пречистая Дева Мария.

— Нет, нет, — сладко протянула бабка. — Я — Дама!

Водитель невольно схватился за пистолет.

— Чья Дама?

— Амадиса Великого.

— Стало быть, вы с того света, — сказал он настороженно. — А что вам, собственно, надо?'

— Помогите мне вызволить мою внучку, внучку Амадиса Великого, дочь нашего Амадиса, которую упрятали в монастырь.

Водитель понемногу справился со страхом.

— Ты ошиблась дверью, — сказал он, — и раз ты считаешь, что мы вмешиваемся в дела Бога, значит, ты не та, за кого себя выдаешь, и в глаза не видела Амадисов. Да и вообще не смыслишь ни уха ни рыла в нашей работенке.

В тот предрассветный час бабка почти не спала и, кутаясь в шерстяную шаль, жевала маисовые зерна, которые горстями вынимала из матерчатой сумки, пришитой к поясу. Мысли ее путались, и бред неумолимо рвался наружу, но она не смыкала глаз и все сильнее прижимала руку к сердцу, боясь, что ее задушат воспоминания о доме с алыми цветами у самого моря, где она была счастлива. Так она просидела до той поры, когда пробил первый удар монастырского колокола, и зажглись первые огоньки в окнах, и вся пустыня наполнилась запахом хлеба, испеченною до утреннего благовеста. Вот тут бабка сдалась усталости и вверилась надежде, что вставшая чуть свет Эрендира только и думает, как бы удрать, вернуться к ней.

А Эрендира напротив, спала крепким сном все ночи, с тех пор, как попала в монастырь. Ее остригли почти наголо садовыми ножницами, обрядили в домотканый балахон, какой носили затворницы, всучили в первый же день ведро с разведенным мелом и велели белить толстой кистью ступени лестницы после каждого, кто по ним пройдет. Это был адский труд, потому что по лестнице беспрерывно подымались и сходили миссионеры в запыленных одеждах и послушницы с корзинами, но после той смертной галеры, которой стала для нее постель, дни в монастыре казались ей светлым христовым воскресеньем. Да и не она одна ворочала до поздней ночи, потому что монастырь не столько боролся с кознями дьявола, сколько с неумолимой пустыней. Эрендира видела, как послушницы ловко бьют по заливку коров, чтобы стояли смирно пока их

доят, видела, как прыгают изо дня в день на досках, отжимая сыр, как помогают котиться козам. Она видела, как они, взмокшие от пота, точно портовые грузчики, таскают воду из родника, как усердно поливают отважный огород, который развели в пустыне, как мотыжат каменистую почву, чтобы вырастить хоть какую-то зелень. Своими глазами она видела настоящие муки преисподней в монастырской пекарне и монастырской гладильне. При ней одна монашенка, погнавшись во дворе за боровом, уцепилась ему за уши, споткнулась, и боров поволок её за ворота по грязи и таскал за собой, пока не подоспели две послушницы в кожаных фартуках, и одна из них заколола ею большим ножом. Все трое были заляпаны с ног до головы кровью и вязкой глиной. Эрендира встретила в дальнем крыле монастырской больницы чахоточных монашек в смертных рубашках, они смиренно вышивали простыни для новобрачных, в ожидании последней воли Отца Небесного, а тем временем отцы-миссионеры произносили душеспасительные проповеди в песках пустыни. Эрендира жила незаметно, в тени, открывая каждый день все новые и новые оттенки ужаса и красоты, о которых даже и не подозревала в узком мирке смятой постели, и никто, — ни самые бойкие, ни самые тихие послушницы не могли добиться от нее ни слова с тех пор, как она оказалась в монастыре. Однажды утром разводя в ведре мел, Эрендира услышала струнную музыку, которая показалась ей прозрачнее света пустыни. Ошеломленная этим чудом, она заглянула в огромный пустой зал с голыми стенами и большими стрельчатыми окнами, сквозь которые вривалась, дробясь и оседая, ослепительная июньская ясность. И увидела посреди зала монашенку несказанной красоты, ни разу не попадавшуюся ей на глаза, которая играла на клавесине пасхальную ораторию. Эрендира слушала едва дыша, не мигая, и очнулась, лишь когда зазвонили к трапезе. После обеда она белила ступени, дожидаясь часа, когда послушницы перестанут снова вверх-вниз по лестнице, и оставшись наконец одна, там, где никто не мог ее услышать, она впервые за все время заговорила вслух.

— Я счастлива, — сказала Эрендира.

У бабки иссякли всяческие надежды на то, что Эрендира удерет из монастыря, но она по-прежнему держала осаду, не зная толком, что же предпринять... и лишь на Пятидесятницу ее осенила счастливая мысль. В ту пору миссионеры рыскали по всей пустыне, выслеживая женщин, забеременевших вне брака, чтобы сделать их мужнинами женами. Миссионеры добирались до забытых богом селений на разбитом грузовичке, в котором везли огромный ящик с яркими побрякушками и четырех хорошо вооруженных солдат. Склонить женщин к браку было

нелегкой задачей — они оборонялись от этого блага, как могли, понимая, что едва станут законными женами, их мужья свалят на них всю тяжелую и грязную работу, а сами будут разлеживаться в гамаках. Приходилось уламывать их обманом, растворяя Волю Божью в росе их родного языка, дабы они не слишком страшились сурового будущего. Но даже самые несговорчивые сдавались при виде сережек из сусального золота. А с мужчинами, если женщины соглашались добром, разговор был короткий: ударами прикладов их вытряхивали из гамаков, а потом, связанных по рукам и ногам, заталкивали в кузов и везли венчаться.

Несколько недель кряду мимо бабки в сторону монастыря проскакивал грузовик, набитый беременными невестами, но сердце не подсказало ей, что это — долгожданный счастливый случай. Ее озарило лишь на Пятидесятницу, когда она услышала треск разноцветных ракет и частый звон колоколов и увидела веселую нищую толпу, валившую на праздник, а в толпе великое множество брюхатых женщин в венках и со свечами. Они вели под руку своих сожителей, которые должны были стать законными мужьями после того, как их обвенчают всех разом. В самом конце шествия брел юноша, невинный сердцем, остриженный, подобно всем индейцам в кружок, и одетый в рвань. Он нес большую пасхальную свечу, перевитую шелковой лентой. Бабка окликнула его.

— Скажи-ка, сынок, — спросила бабка, отдельно выговаривая слова. — Что ты собрался делать на этой гулянке?

Молодой индеец боялся уронить свечу. Рот у него был полуоткрыт, из-за длинных зубов, как у осла. — Так ведь меня ведут на Первое причастие.

— Сколько тебе заплатили?

— Пять песо.

Бабка вытащила из матерчатой сумки пачку денег, при виде которой юнец опешил.

— Я дам тебе двадцать, — сказала она, — только не за Первое причастие, а чтобы ты женился.

— Это на ком? — спросил он.

— На моей внучке.

Вот так случилось, что Эрендиру отдали замуж прямо в монастырском дворе. Она была в балахоне затворницы и в кружевной наколке, которую ей подарили послушницы, и знать не знала, как зовут супруга, которого ей купила бабушка. Точно великая мученица, она со смутной надеждой стояла на коленях на окаменелой серой земле, выдерживая козлиную вонь, которой разило от двухсот беременных невест, выдерживая Послание апостола Павла на латыни, которое ей вбивали в голову, будто кувалдой под

палящим солнцем. Миссионеры, пытаясь удержать Эрендиру в монастыре, тянули, как могли, чтобы воспротивиться бабкиному коварству и спасти ее от неожиданной свадьбы. И все же после долгой торжественной церемонии, проходившей в присутствии епископа и того военного алькальда, который стрелял по тучам, Эрендира на глазах у всех, на глазах у ее новоявленного супруга и бессердечной бабки снова попала во власть тех страшных чар, что заморозили ее с самого дня рождения. Когда Эрендиру спросили, какова будет ее доподлинная и окончательная воля, она без вдоха сомнения проговорила:

— Я хочу уйти отсюда, — и кивнув в сторону супруга, добавила; — Только не с ним, а с моей бабушкой.

Улисс убил полдня, пытаясь украсть апельсин с плантации своего папаша, но тот не спускал с него глаз, пока они обрезали больные ветки, да и мать, не выходя из дома, стерегла каждое его движение. Словом, Улиссу пришлось оставить свои помыслы, по крайней мере на тот день, и хочешь не хочешь срезать больные ветки на всех деревьях.

В огромной апельсиновой роще стояла притаенная тишина. Дом был деревянный под латунной крышей с медными сетками на окнах, с большой террасой на высоких опорах, увитой скромными обильно цветущими вьюнками. На террасе в венском кресле полулежала мать Улисса. К ее вискам были приложены паленые листья, чтобы унять головную боль, но ее взгляд — взгляд чистокровной индеанки — следовал за сыном, точно сноп незримых лучей, который пронизывал самые глухие места огромного сада. Она была очень красива, много моложе своего мужа и не только носила платья того же покроя, какое шьют себе женщины ее племени, но и знала самые древние тайны своей крови.

Когда Улисс вернулся в дом с садовыми ножницами, мать попросила его подать со столика лекарство, которое она принимала в четыре часа. Едва он коснулся пузырька и стакана, они изменили свой цвет. Из чистого озорства Улисс притронулся к хрустальному графину, стоявшему на столе рядом со стаканом, и графин мгновенно стал синим. Мать не сводила глаз с сына, запивая лекарство, и, когда окончательно уверилась, что ей это не мерещится, спросила на языке гуахино:

— Давно это с тобой?

— Как вернулись из пустыни, — сказал Улисс на том же языке. — Такое у меня со всеми стеклянными вещами.

В доказательство он тронул все стаканы по очереди, и они окрасились в разные цвета.

— Это бывает только от любви, сказала мать. — Кто она?

Улисс промолчал. В ту минуту с веткой, унизанной апельсинами, поднялся на террасу отец, не понимавший их языка.

— О чем разговор? — спросил он Улисса по-голландски.

— Так о пустяках.

Мать Улисса не понимала по-голландски и, когда ее муж прошел в дом, спросила на своем языке:

— Что он тебе сказал?

— Так пустяки? — ответил Улисс.

Он потерял из виду отца, но потом снова углядел его в окне конторы. Магь, дождавшись, когда они остались вдвоем, повторила с нетерпением:

— Ну так кто она?

— Никто, — сказал Улисс.

Он ответил рассеянно, потому что не спускал напряженных глаз с отца. Улисс увидел, как тот положил апельсины на сейф и стал набирать шифр. И пока Улисс следил за отцом, мать следила за Улиссом.

— Ты давно не ешь хлеба, — заметила она.

— Я его не люблю.

Лицо матери сразу оживилось.

— Неправда, сказала она. — Тебя губит любовь. Те у кого такая любовь не могут есть хлеба.

Волнение сменилось угрозой и в голосе и в глазах индеанки.

— Лучше скажи сам кто она, настаивала мать. Не то я силой искупаю тебя в наговорной воде.

В конторе голландец открыл несгораемый шкаф и, положив туда апельсины, захлопнув бронированную дверь. И тогда Улисс, отвернувшись от окна, скачал с явным раздражением:

— Я уже говорил, что никто. Не веришь — спроси у отца.

Голландец вырос в дверях, с обтрепанной Библией под мышкой, и стал раскуривать свою шкиперскую трубку. Жена спросила его на испанском:

— С кем вы познакомились в пустыне?

— Ни с кем, — ответил ей муж, занятый своими мыслями. — Если не веришь — спроси у сына.

Он сел в дальнем углу коридора и дымил трубкой, пока не докурил ее до конца. Потом, открыв наугад Библию, принялся читать отрывки то оттуда, то отсюда на текучем и пышном голландском.

Улисс обдумывал все с таким напряжением, что не мог заснуть и после полуночи. Он проворочался в гамаке еще час, силясь преодолеть боль воспоминаний, пока эта боль не придала ему силы и решимость. Он надел

ковбойские штаны, рубашку из шотландки, высокие сапоги, выпрыгнул в окно и удрал из дому на грузовичке с птицами в клетках. Проезжая по роще, он, как бы мимоходом, сорвал три зрелых апельсина, которые никак не мог украсть накануне.

Весь остаток ночи он катил по пустыне, а с рассветом стал спрашивать всех и каждого, где сейчас Эрендира. Но никто не сказал ничего толком. В конце концов ему повезло: он узнал, что Эрендира следует за свитой сенатора Онесимо Санчеса, который отправился в предвыборную поездку, и что скорей всего он в Новой Кастилии. Но вскоре выяснилось — он уже не там, а в другом городке, и Эрендиры при нем нет, потому как бабка, добившаяся к тому времени письма, в котором сенатор самолично поручился за ее высокую нравственность, открывала с помощью этой могущественной бумаги самые прочные запоры на дверях пустыни. На третьи сутки Улисс повстречал развозчика национальной почты, и тот объяснил, где их искать.

— Они едут к морю, — сказал он. — И поторопись, потому что эта мерзкая старуха собралась на остров Аруба.

Двинувшись в путь, Улисс лишь во второй половине дня узрел огромный, потемневший от времени шатер, который бабка купила у прогоревшего цирка. Разъездной фотограф вернулся к ним, убедившись, что мир воистину не так велик, как думалось, и натянул рядом с шатром свои идиллические полотна. Духовой оркестр завораживал клиентов Эрендиры меланхолическими звуками вальса.

Улисс дождался своей очереди, и, когда вошел, первое, что ему бросилось в глаза — это порядок и чистота в шатре. Бабкина кровать вновь обрела вице-королевское величие, статуя ангела стояла на своем месте рядом с погребальным баулом Амадисов, и еще появилась великолепная ванна на львиных лапах из сплава олова и цинка. Эрендира лежала нагая, умиротворенная и лучилась чистым сиянием в свете, что сочился сквозь шатер. Она спала с открытыми глазами. Улисс приблизился с апельсинами в руках и только тогда заметил, что Эрендира смотрит на него невидящими глазами. Он провел рукой перед ее лицом и окликнул тем именем, которое придумал в мыслях о ней.

— Ариднере!

Эрендира проснулась. При виде Улисса она испугалась своей наготы, глухо взвизгнула и спряталась под простыней.

— Не смотри на меня, — сказала она. — Я страшная.

— Ты вся апельсинового цвета, — проговорил Улисс. Он поднес к ее глазам апельсина.



— Посмотри.

Эрендира открыла глаза и увидела, что апельсины такого же цвета, как и она.

— Я не хочу, чтобы ты остался, — сказала Эрендира.

— Я пришел только показать тебе это, — сказал Улисс. — Погляди.

Он содрал кожуру апельсина ногтями, разломил его пополам и показал, что внутри. В самой сердцевине плода сверкал настоящий бриллиант.

— Вот такие апельсины мы возим через границу, — сказал Улисс.

— Но ведь это живые апельсины! — охнула Эрендира.

— Конечно, — улыбнулся Улисс. — Их выращивает мой папа.

Эрендира не верила своим глазам. Она отняла руки от лица, и, взяв осторожными пальцами бриллиант, смотрела на него в изумлении.

— Таких трех нам хватит, чтобы объехать весь мир, — сказал Улисс.

Эрендира вернула ему апельсин, и лицо ее погасло. Улисс не отставал.

— К тому же у нас есть грузовичок, — добавил он. — И еще... вот смотри!

Он вынул из-под рубашки допотопный пистолет.

— Я смогу уехать только через десять лет, — сказала Эрендира.

— Нет, ты уедешь, — настаивал Улисс. — Ночью, когда белая китиха заснет, я буду тут, рядом, и прокричу совой.

Он так похоже изобразил уханье совы, что глаза Эрендиры впервые за все время улыбнулись.

— Значит, это моя бабушка?

— Кто — сова?

— Нет, китиха.

Оба засмеялись, но Эрендира вспомнила о своем.

— Никто никуда не может уезжать без разрешения своей бабушки.

— Да ей не надо и говорить.

— Она сама узнает, — сказала Эрендира. — Она все видит во сне.

— Когда ей приснится, что ты уезжаешь, мы будем по ту сторону границы. Мы переедем, как контрабандисты... — проговорил Улисс.

Он схватился за пистолет, точно герой приключенческого фильма, и изобразил звуки выстрелов, чтобы развеселить Эрендиру своей отвагой. Она не сказала ни да ни нет, но глаза ее вздохнули, и она поцеловала Улисса на прощанье. Улисс растроганно шепнул:

— Завтра мы увидим море и корабли.

В тот вечер, чуть позже семи, когда Эрендира расчесывала бабке волосы, снова задул Ветер ее несчастья. В шатре укрылись индейцы-

носильщики и хозяин духового оркестра, ожидавшие жалованья. Бабка, только что пересчитавшая бумажные деньги, которые держала в большом ларе рядом с собой, сверила свои записи в приходно-расходной книге и лишь потом выдала плату старшему из индейцев.

— Вот тебе, — сказала она, — двадцать песо за неделю, минус восемь за еду, минус три за воду, минус пятьдесят сентаво, почти даром, за новые рубашки — итого восемь с половиной песо. Пересчитай хорошенько.

Старший пересчитал деньги, и все четверо индейцев удалились, почтительно кланяясь.

— Спасибо белолицая сеньора.

Следующим на очереди был хозяин оркестра. Бабка заглянула в свою толстую тетрадь и окликнула фотографа, который пытался прилепить к муфте аппарата заплатки из пластыря.

— Ну так как? — спросила она. — Платишь или не платишь четвертую часть за музыку?

Фотограф даже не поднял головы.

— На снимках музыки нет.

— Но она вызывает у людей охоту сфотографироваться, — возразила бабка.

— Ничего подобного, — сказал фотограф, — эта горе-музыка напоминает им о покойниках, и они получают с закрытыми глазами.

Тут вмешался хозяин оркестра.

— Музыка ни при чем, они закрывают глаза из-за вспышек магния.

— Нет, из-за музыки, — упорствовал фотограф.

Бабка прекратила спор.

— Ну и жом! — сказала она. — Вон какой успех у сенатора Онесимо Санчеса, а все потому, что при нем музыканты. — Потом со всей суровостью заключила: — В общем, или плати, давай, что положено, или ищи своего счастья сам. Разве справедливо, чтобы бедная девочка взваливала на себя все расходы.

— Я и сам найду свое счастье, — сказал фотограф. — В конце концов я человек искусства, а не кто-нибудь...

Бабка пожала плечами и занялась музыкантом. Она протянула ему пачку денег в полном соответствии с суммой, указанной в тетради.

— Всего сыграно двести пятьдесят четыре пьесы, — сказала она, — пятьдесят сентаво за каждую и еще тридцать две по воскресеньям и в праздничные дни — по шестьдесят сентаво за каждую. Стало быть, сто пятьдесят шесть песо двадцать сентаво.

Музыкант денег не взял.

— Нет, сто восемьдесят два песо и сорок сентаво, — сказал он. — Вальсы дороже.

— Это с чего?

— Они грустнее, — сказал музыкант. Бабка все-таки всучила ему деньги.

— Значит, на этой неделе сыграешь по два веселеньких танца за каждый вальс, который я тебе должна, — и мы квиты.

Музыкант, как ни пытался, не мог постичь старухину логику и лишь запутался еще больше. Страшным ударом ветра чуть не сорвало цирковой шатер, и следом в наступившей внезапно тишине четко и зловеще крикнула сова.

Эрендира не знала, как скрыть волнение. Она захлопнула крышку сундука с деньгами и задвинула его под кровать. Когда старуха взяла у нее ключ, она сразу поняла, что внучке не по себе.

— Не бойся, — сказала бабка, — ночью в ненастье всегда ухают совы. — Однако и старухе стало жутковато, когда она увидела, что фотограф закинул на плечо штатив и собрался уходить. — Хочешь, оставайся до утра. В такую ночь смерть бродит повсюду.

Фотограф тоже слышал протяжное уханье совы, но не изменил своему слову.

— Оставайся, голубчик, — наседала бабка, — как-никак я к тебе привыкла.

— С уговором — за музыку я не плачу, сказал фотограф.

— О нет! — возразила бабка. — Это ни за что.

— Вы никого не любите, — бросил фотограф. — Вот и все!

Старуха позеленела от ярости.

— Тогда убирайся отсюда! — крикнула она. — Ублюдох...

Оскорбленная, разобиженная до глубины души, она крыла его почем зря, пока Эрендира готовила ее ко сну. «Поганое отродье, — шипела бабка, — что может знать этот жалкий выползок о чужом сердце!» Эрендира не обращала внимания на ее слова. В те короткие минуты, когда стихал ветер, совиный крик взывал к ней все настойчивее, надрывнее, и она, бедная, терзалась в нерешительности.

Бабка улеглась, исполнив весь ритуал, какой когда-то неукоснительно соблюдался в ее старинном особняке. Эрендира долго и старательно обмахивала бабку веером, и та, пересилив наконец свой гнев, мерно задышала, втягивая в себя бесплодный воздух пустыни.

— Завтра встань пораньше, — сказала она, — и приготовь травяной отвар, чтобы мне искупаться до людей.

— Хорошо, бабушка.

— А потом выбери время и постирни одежду индейцев, тогда мы с них удержим деньги на следующей неделе.

— Хорошо бабушка.

— И спи медленно, чтобы не устать... завтра у нас четверг — самый длинный день недели.

— Хорошо, бабушка.

— И накорми страуса.

— Хорошо, бабушка, — сказала Эрендира.

Она оставила веер в головах кровати и зажгла свечи возле баула с костями покойников. Уже во сне бабка запоздало распорядилась:

— Не забудь зажечь свечки Амадисам.

— Хорошо, бабушка.

Эрендира знала: когда бабка бредит, ее не добудиться, даже если задрожит земля. Она прислушалась к завыванию ветра за стенами шатра, но как и в прошлый раз, не разгадала, что ветер пророчит ей беду. Когда вновь раздалось уханье совы, Эрендира выглянула в темень, и неосознанная тяга к воде взяла наконец верх над грозными чарами старухи.

Но не успела Эрендира отойти на пять шагов от шатра, как нос к носу столкнулась с фотографом, который привязывал пожитки к багажнику велосипеда. Его понимающая улыбка ободрила девочку.

— Лично я ничего не знаю, — ухмыльнулся фотограф, — ничего не видел и не стану платить за музыку.

Он раскланялся на все стороны света и укатил прочь. Собрав всю свою волю, Эрендира помчалась в крошечную тьму, где сквозь ветер натужно ухала сова.

На сей раз старуха незамедлительно обратилась к властям. Комендант местного гарнизона чуть не свалился с гамака, когда она в шесть утра ткнула ему в лицо письмо сенатора. Отец Улисса ждал в дверях.

— Еще чего! На кой ляд мне твоя бумажка! — заорал комендант. — Да и вообще я читать не обучен.

— Это рекомендательное письмо сенатора Онесимо Санчеса, — цедя слова, проговорила бабка.

Комендант гарнизона без лишних разговоров схватил винтовку, висевшую рядом с гамаком, и громовым голосом стал отдавать приказы подчиненным.

Через пять минут военная машина неслась к границе наперекор ветру, который заметал следы беглецов. Впереди, рядом с водителем, сидел сам комендант. Позади — голландец с бабкой, а на подножках с обеих сторон

пристроились два вооруженных солдата.

Недалеко от городка они задержали колонну грузовиков, крытых брезентом. Какие-то люди, сидевшие в кузовах, приподняли брезент и наставили на военную машину пулеметы и винтовки с оптическим прицелом. Комендант спросил водителя головного грузовика, на каком расстоянии отсюда повстречался им фермерский грузовичок с птичьими клетками. Водитель рванул с места, не удостоив его ответом.

— Мы не стукачи, — бросил он на ходу, — мы — контрабандисты.

Перед самым носом коменданта проскочили один за одним закопченные стволы пулеметов. Улыбнувшись, он воздел руки к небу.

— Стыдоба! — крикнул комендант вдогон. — Разъезжать среди белого дня!

На борту кузова последнего грузовика была выведена надпись: «Я мечтаю о тебе, Эрендира!»

Чем дальше военная машина удалялась к северу, тем суше становился ветер, а солнце, озлившись на ветер, палило так, что в машине с поднятыми стеклами нечем было дышать от жары и пыли.

Бабка первая углядела фотографа; он жал изо всех сил на педали явно с той же целью, с какой на предельной скорости неслась комендантская машина, и единственной защитой от солнечного удара служил ему носовой платок, повязанный на голове.

— Вот он! — крикнула бабка. — В сговоре с ними, ублюдок!

Комендант приказал одному из солдат заняться фотографом.

— Бери его и жди здесь, — сказал он. — Мы скоро вернемся.

Солдат спрыгнул с подножки и, напрягая голос, дважды рывкнул «Стой! Стой!» Но из-за встречного ветра фотограф решительно ничего не услышал. Когда его обогнала военная машина, старуха сделала ему какой-то загадочный знак. Фотограф принял это за приветствие, улыбнулся и дружески помахал рукой. Он не услышал выстрела, перевернулся в воздухе и рухнул замертво с разmozженной головой на свой велосипед, так и не узнав, за что и почему его настигла пуля.

Ближе к полудню преследователи увидели перья, которые уносил обжигаящий суховей. Прежде им никогда не встречались такие перья, но голландец тотчас признал их, потому что это были перья его птиц, выдернутые ветром. Водитель изменил направление, нажал до отказа педаль, и через полчаса, а то и раньше они заметили на горизонте грузовичок.

Когда Улисс увидел в боковое зеркальце приближавшуюся машину, он попытался оторваться от нее, но ничею не мог выжать из мотора. Все это

время они ехали без остановки и устали до полусмерти от бессонной ночи и жажды. Эрендира, задремавшая на плече Улисса, очнулась в страхе. Увидев военную машину, уверенно настигавшую их, она с наивной отвагой схватилась за пистолет в кобуре.

— Не стреляет, — сказал Улисс. — Это пистолет Фрэнсиса Дрейка.

Он ударил по нему в ярости раз-другой и выбросил в окно. Машина коменданта обогнала грузовичок с птицами, наголо ошипанными ветром, и, круто развернувшись, встала поперек дороги.

Я встретил бабу и внуку в нору их самого пышного расцвета, однако заинтересовался всеми подробностями много позже, когда Рафаэль Эскалопа\* поведал нам в своей песне о трагической развязке драмы, и мне подумалось об этом стоит рассказать. В ту пору я торговал энциклопедиями и медицинскими книгами поблизости от города Риоча. Альваро Сепеда Самудко\* тоже мотался по этим краям, сбывая аппараты для охлаждения пива. Он усадил меня в свой грузовичок, и пока мы колесили по всем селениям, он порывался говорить со мной о серьезных вещах, но мы так много говорили ни о чем и выпили столько пива, что не заметили, как пересекли пустыню и очутились на самой границе.

Вот там и стоял шатер случайной любви, над которым красовались туго натянутые полотнища с призывными надписями: «Нет лучше Эрендиры!», «Приходите снова — Эрендира всегда готова!», «Без Эрендиры жизнь не жизнь!» В нескончаемую очередь сбились мужчины разного достатка и разных стран, и эта огромная очередь походила на змею с человеческими позвонками, которая подрагивала в полудреме, растянувшись на площади, во дворах, на крытых рынках и шумных утренних торжищах, на всех улицах суматошного города, где суетились заезжие спекулянты. Каждая улочка была притоном, каждая развалюха — кабаком, каждая дверь — пристанищем беженцев. Невнятная разноголосица музыки и протяжные выкрики продавцов вливались истошным паническим ревом в одуряющей зной города.

Среди сонма бездомных бродяг и бездельников был и Блакаман — добрая душа; взобравшись на стол, он молил найти ему живую гадюку, чтобы тут же показать на самом себе чудодейственные свойства изобретенного им противоядия. Была там и женщина, превратившаяся в паука за непокорство родителям. За пятьдесят сентаво она позволяла трогать себя любому, кто желал удостовериться, что это не обман, и охотно отвечала на все вопросы, касаемые ее злосчастной судьбы. Был там и

посланец вечной жизни, без усталости возвещавший, что со звезд на землю слетит Чудовищная летучая мышь, которая своим опаляющим серным дыханием, нарушит весь порядок в природе и вытащит на поверхность все сокровище в морских глубинах.

Единственной тихой заводью в городе был квартал терпимости, куда докатывались тлеющие угольки городской суматохи. Женщины, попавшие сюда из четырех квадрантов морской розы, зевали со скуки в пустых гостиных. Они дремали в креслах, никто не будил их, не требовал любви, и им ничего не оставалось, как ждать пришествия чудовищной звездной мыши — под мерный шелест вентиляторов, привинченных к потолку. Внезапно одна из женщин резко встала и направилась в галерею, украшенную аютиными глазками. Внизу на улице толпились те, кто жаждал Эрендиру.

— Интересно, — крикнула им женщина, — что у нее такого по сравнению с нами?

— Письмо сенатора, — отозвались из очереди. На крики и смех выскочили остальные девицы.

— Который день, — сказала одна, — а очередь не убывает! За пятьдесят песо всем и каждому! Ну и ну!

Та, что вышла первой, заявила с решительным видом:

— Пойду взгляну, что там из золота у этой пискушки.

— Я тоже, — подхватила другая, — все лучше, чем без толку греть стулья.

По пути к ним присоединились остальные, а когда они подошли к шатру Эрендиры, это уже была толпа разъяренных девок. Они ворвались внутрь и стали лупить подушками мужчину, который в ту минуту самым наилучшим образом тратил свои кровные денежки, скинули его на пол и, взяв за ножки кровать, где лежала нагая Эрендира, вытащили ее прямо на улицу.

— Это произвол! — орала бабка. — Безродные твари! Дешевки! — а потом в сторону очереди: — Ну на что вы годитесь, бабье охвостье! На ваших глазах творят такое безобразие над беззащитным существом, а вы — хоть бы что, дохляки поганые.

Она кричала, как оглашенная, дубася всех, кто попадался ей под руку, жезлом, но ее бешеные вопли тонули в криках и злых насмешках толпы.

Эрендира не могла спастись от такого позора — ей не позволяла собачья цепь, которой бабка приковывала ее к кровати после неудавшегося побега. Никто не причинил ей никакого вреда: нагую Эрендиру пронесли на ее алтаре под кисейным пологом, словно это было шествие — аллегория

с грешницей в оковах, и под конец засунули в раскаленную клетку посреди главной площади. Эрендира сжалась в комочек, спрятала в ладони сухие без слезинки глаза, и вот так лежала на самом пекле, кусая от стыда и бессильной ярости тяжелую цепь своего злосчастья, пока какая-то сердобольная душа не прикрыла ее рубашкой.

Это был тот один-единственный раз, когда я увидел ее воочию, но со временем узнал, что они с бабкой обретались в пограничном городке под покровительством местных властей, пока не набили доверху огромные сундуки. Лишь тогда старуха с внучкой покинули пустыню и двинулись к морю. Во все времена никому не доводилось видеть такого скопища богатства в царстве бедняков. Нескончаемо тянулись запряженные волами повозки, на которых громоздилось пестрое крикливое барахло, как бы возрожденное из пепла сгоревшего особняка. Там были не только императорские бюсты и самые диковинные в мире часы, но и купленный по случаю рояль, и новый патефон с набором душещипательных пластинок. Индейцы, шагавшие гуськом по обе стороны каравана, охраняли имущество, а духовой оркестр возвещал об этом победном шествии в каждом городе.

Бабка сидела в паланкине, увитом гирляндами из цветной глянцевой бумаги, под ярким шелковым балдахином и непрерывно жевала зерна маиса, которыми всегда была набита ее старая матерчатая сумка. Бабкины габариты стали еще монументальнее, потому как под блузу она надела парусиновый жилет, в карманах которого точно патроны в патронташе, лежали слитки золота. Рядом с ней сидела Эрендира, одетая в цветастое шелковое платье с длинными кистями, но на ее щиколотке по прежнему была собачья цепь.

— Тебе грех жаловаться, — сказала бабка, когда остался позади пограничный город. — У тебя царские наряды, роскошная постель, собственный духовой оркестр, и прислуга — четырнадцать индейцев. Это же чудо!

— Да, бабушка, — сказала Эрендира.

— Когда я тебя покину, — продолжала бабка, — тебе не придется жить щедротами мужчин, ты купишь дом в самом важном городе и станешь свободной и счастливой.

Это был совершенно новый и неожиданный поворот в бабкиных взглядах на будущее. Но о долге бабка не заговаривала, да и он становился все более мудреным, а сроки уплаты удлинялись, так как расчеты были теперь более сложными и запуганными. Эрендира ни единым вздохом не выдала, что у нее на душе. Она молча сносила все постельные пытки в



едком тумане свайных селений, в зловоньи, идущем от селитряной жижи, в лунных кратерах тальковых карьеров, а бабка меж тем без устали расписывала ее счастливое будущее, точно гадала на картах. Однажды у гром, выбираясь из мрачной котловины, они уловили в ветре древний запах лавра, услышали обрывки чужестранной речи и ощутили вдруг какое-то стеснение в груди, великую жажду жизни. И было так потому, что они вышли к морю.

— Вот оно, гляди! — сказала бабка, жадно вдыхая прозрачное сияние Карибского моря, ибо полжизни пробыла в пустыне. — Нравится?

— Да, бабушка.

Там они и поставили свой шатер. Бабка проговорила всю ночь так и не смокнув глаз, и минутами тоска о невозвратном прошлом путалась в ее словах с видениями грядущего. Потом она заснула, проспала дольше обычного и проснулась, успокоенная шумом волн. Но когда Эрендира усадила ее в ванну, бабка снова взялась предсказывать будущее, и ее неистовые речи смахивали на горячечный бред.

Ты станешь властительницей земель, — говорила она. — Самой знатной дамой. Тебя будут боготворить все твои подданные, почитать и превозносить самые высокие власти. Капитаны кораблей станут посылать тебе цветные открытки из всех портов мира.

Эрендира не слушала ее. Теплая вода, настоящая на мелиссе, стекала в чан по желобку, проведенному из кухни. Эрендира чуть дыша, с застывшим лицом черпала эту воду тыквенной плоской и обливала бабкины намыленные телеса.

— Слава о твоём доме будет передаваться из уст в уста от Антильских островов до Голландского королевства, — вещала бабка. — И дом твой станет могущественнее президентского дворца, потому что в стенах твоего дома будут обсуждать государственные дела и вершить судьбы нации.

Вода в желобке вдруг исчезла. Эрендира вышла из шатра посмотреть, в чем дело. И увидела, что индеец, которому положено следить за водой, колет дрова.

— Кончилась, — сказал он. — Пусть остынет эта.

Эрендира подошла к плите, где стоял котел с кипящими благовонными листьями. Она обернула руки тряпьем и, приподняв котел, поняла, что сумеет донести его без посторонней помощи.

— Иди, — сказала она индейцу, — я сама налью.

Эрендира дождалась, когда индеец вышел из кухни. Сняла с огня котел с кипящей водой, насилу подняла его и, собралась было опрокинуть гибельный кипяток в широкий желоб, как вдруг из шатра раздался бабкин

голос:

— Эрендира!

Бог ты мой! Ну будто она все видела! Внучка помертвела от страха и в последнюю минуту раскаялась.

— Сейчас, бабушка, — сказала она, — я стужу воду.

Той ночью ее допоздна терзали сомнения, а бабушка, уснувшая в жилете с золотыми слитками, до рассвета распевала песни. Эрендира, лежа в постели, не сводила с бабки пристальных глаз, которые в полутьме горели, как у кошки. Потом она вытянулась, как утопленница, с открытыми глазами, скрестив руки на груди, и беззвучным голосом, вложив в него все силы души, позвала:

— Улисс!

Улисс внезапно проснулся в доме среди апельсиновых деревьев. Он так явственно услышал зов Эрендиры, что бросился искать ее в полутьме комнаты. Но подумав минуту-другую, быстро сложил в узел свою одежду и выскользнул за дверь. На террасе его настиг отцовский голос:

— Ты куда это, а?

Улисс увидел отца, озаренного синим светом луны.

— К людям, — ответил Улисс.

— На сей раз я не стану тебе мешать, — сказал голландец. — Но знай, где бы ты ни был, тебя найдет отцовское проклятье.

— Ну и пусть, — сказал Улисс.

Голландец смотрел вслед удалявшемуся по лунной роще Улиссу, с удивлением и даже гордась решимостью сына, и в его взгляде все ярче проступала улыбка. За спиной голландца стояла жена, как умеют стоять только прекрасные индеанки. Когда Улисс хлопнул калиткой, он заговорил.

— Вернется, как миленький, — сказал голландец. — Жизнь его обломает, и он вернется раньше, чем ты думаешь.

— Ты очень жесток, — вздохнула индеанка. — Он никогда не вернется.

Теперь Улиссу незачем было спрашивать, где Эрендира. Он пересек пустыню, прячась в кузовах попутных машин. По дороге он крал, чтобы есть и спокойно спать, а нередко крал из любви к риску и в конце концов добрался до шатра, который на сей раз стоял в приморском городке, откуда были видны высокие стеклянные здания ярко горевшего вечерними огнями города и где по ночам нарушали тишину прощальные гудки пароходов, уходивших к острову Аруба. Эрендира, прикованная цепью к борту кровати, спала в той позе утопленницы, в какой призывала Улисса. Улисс смотрел на нее долго, боясь разбудить, но взгляд его был таким трепетным,

таким напряженным, что Эрендира проснулась. Они поцеловались в темноте и не торопясь, с безмолвной нежностью, с затаенным счастьем ласкали друг друга, а потом, изнемогая, сбросили с себя одежды и, как никогда были самой любовью

В дальнем углу шатра спящая бабка грузно перекатилась на другой бок и принялась бредить.

— Это случилось в тот год, когда приплыл греческий пароход, — сказала она. — Его шальные матросы умели делать счастливыми женщин, но за любовь платили не деньгами, а морскими губками, еще живыми, которые потом ползали по домам и стонали, как тяжелобольные, а когда дети плакали от страха, они пили их слезы. — Старуха вдруг приподнялась, словно восстала из земли, и села: — Тогда пришел он. Бог мой! — вскрикнула бабка. — Он был сильнее, моложе и в постели куда лучше моего Амадиса.

Улисс, не замечавший поначалу бабкиного бреда, испугался, увидев, что она сидит на постели. Эрендира успокоила его.

— Да не бойся! — сказала она. — Бабушка всегда говорит об этом сидя, но чтобы проснуться — никогда.

Улисс положил ей голову на плечо.

— Той ночью, когда я пела вместе с матросами, мне почудилось, что разверзлась земля, — продолжала спящая бабка. — Да и все, наверно, так решили, потому что разбежались с криками, давясь от смеха, и остался лишь он один под навесом душистых трав. Как сейчас помню — я пела песню, которую пели тогда повсюду. Ее пели даже попугаи во всех патио.

Дурным, неверным голосом, каким поют лишь во сне, бабка завела песнь своей неизбывной горечи:

«Господь, о верни мне былую невинность,  
чтоб насладиться любовью еще раз сполна».

Только теперь Улисс прислушался к горестным словам старухи.

— Он явился, — говорила она, — с красавцем какаду на плече и с мушкетом, чтобы убивать людоедов. И я услышала его роковое дыханье, когда он встал предо мной и сказал: «Я объездил весь свет тысячу раз, я видел женщин всех стран и могу поклясться, что ты самая своенравная, самая понятливая и прекрасная женщина на земле».

Она снова легла и зарыдала, уткнувшись в подушку. Улисс с Эрендирой замерли в полутьме, чуть покачиваясь от могучего дыханья

спящей старухи. Внезапно Эрендира спросила твердо, без малейшей запинки:

— Ты бы решился убить ее?

Улисс, застигнутый врасплох, не знал, что сказать.

— Не знаю, — ответил он. А ты бы решилась?

— Я не могу, — сказала Эрендира. — Она моя бабушка. Тогда Улисс обвел глазами огромное спящее тело, как бы прикидывая, сколько в нем жизни, и со всей решимостью произнес:

— Ради тебя я готов на все.

Улисс купил целый фунт крысиного яда, смешал со сливками и малиновым вареньем, начинил этим смертоносным кремом торт, из которого вытащил прежнюю начинку, сверху обмазал его кремом погуще, потом загладил ложечкой, чтобы не осталось следов злодейского замысла, и увенчал свою вероломную затею семьюдесятью двумя розовыми свечками.

При виду Улисса, вошедшего с праздничным тортом в шатер, бабка сорвалась с трона и угрожающе размахнулась епископским жезлом.

— Наглец! — заорала она. — Как ты смеешь являться в этот дом!

— Молю вас простить меня, — сказал он. — Сегодня день вашего рождения.

Улисс прикрывался своей ангельской улыбкой.

Обезоруженная меткой ложью, старуха тотчас приказала накрыть стол со всей щедростью, как для свадебного пира, и усадила Улисса по правую руку. Эрендира им прислуживала. Одним сокрушительным выдохом бабка погасила все семьдесят две свечки и, разрезав торт на равные кусища, протянула первый Улиссу.

— Человек, который добился прощения, обретает надежду попасть в рай, — сказала она. — Вот тебе на счастье первый кусок.

— Я не очень люблю сладкое, — проговорил Улисс. — Угощайтесь сами.

Когда бабка протянула второй кусок Эрендире, та вынесла его на кухню и бросила в помойное ведро.

Бабка управилась с тортом в два счета. Заталкивая в рот целые куски, она заглатывала их не прожевывая, со стоном блаженства и сквозь дымку наслаждения разнеженно глядела на Улисса. Когда ее тарелка опустела, она взялась за кусок, от которого отказался Улисс. Облизываясь, смакуя крем, старуха собрала со стола все крошки и кинула их в рот.

Она съела столько мышьяка, сколько хватило бы, чтобы истребить целое поколение крыс. Но она как ни в чем не бывало терзала рояль до полуночи, а потом улеглась и, совершенно счастливая, заснула сладким

сном. Лишь в ее дыхании появились какие-то каменные перекаты.

На другой кровати затаились Эрендира с Улиссом, выжидая бабкиного предсмертного хрипа.

— Я сошла с ума! Бой мой, я сошла с ума! — гремела бабка. — Я закрыла от него спальню на два засова, а к дверям придвинула ночную тумбочку и стол, на который поставила все стулья. Но едва он тихонько постучал перстнем — все мои преграды рухнули: стулья сами собой встали на пол, стол и ночная тумбочка сами собой подались назад, а засовы сами собой отодвинулись.

Эрендира и Улисс смотрели на нее с нарастающим изумлением, потому что бред становился все неистовее, голос — все трепетнее.

— Я думала, что вот-вот умру, я была вся в поту от страха, но про себя молилась: пусть дверь откроется, не открываясь, пусть он войдет, не входя, пусть будет со мной всегда, но больше не возвращается, потому что я убью его.

Несколько часов кряду бабка потрошила свою душу, выкладывая самые интимные подробности своей драмы, переживая ее заново во сне. Перед самым рассветом она повернулась на другой бок с шумом затухающего землетрясения, и голос ее сломался в безудержных рыданиях.

— Я его предупредила, а он смеялся, — надсаживала горло бабка. — Я снова пригрозила, а он снова засмеялся и потом открыл свои губительные глаза и сказал: «О, моя королева! Моя королева!» Но голос его вырвался из глотки, в которую вонзился нож.

Холодея от страха, Улисс схватил Эрендиру за руку.

— Убийца! — крикнул он.

Эрендира даже не глянула на него, потому что в эти минуты стало светать и часы отбили пять ударов.

— Иди! — сказал Эрендира. — Она сейчас проснется.

— В ней жизни больше, чем у слона! — воскликнул Улисс. — Так не бывает!

Эрендира смерила его уничтожающим взглядом.

— Дело просто в том, — проговорила она. — Что ты не умеешь даже убить.

Улисс был настолько потрясен жестокостью упрека, что тут же удрал из шатра. Эрендира смотрела на спящую бабку с глухой ненавистью, с бессильной злобой, а тем временем в разливе утреннего света просыпались птицы. Бабка наконец открыла глаза и взглянула на внучку с блаженной улыбкой.

— Храни тебя Господь, детка.

Единственной заметной переменной было то, что сразу нарушились привычные правила ее жизни. Была среда, но бабка возжелала надеть воскресный наряд, приказала Эрендире не принимать до одиннадцати ни одного клиента и велела покрыть себе ногти гранатовым лаком, а прическу сделать на манер папской тиары.

— Смерть, как хочу сфотографироваться! — воскликнула она.

Эрендира принялась расчесывать ей волосы, но не успела провести гребнем по голове, как в зубьях застрял целый пук волос. В страхе она показала его бабушке. Старуха долго изучала этот пук, потом дернула большую прядь, и та вся целиком осталась у нее в пальцах. Бабка бросила ее на пол, ухватила еще больший клочок волос и легко выдернула его из головы. Тогда она начала обеими руками дергать волосы и, заходясь смехом, подбрасывать их вверх. И не успокоилась, пока голова ее не стала похожа на очищенный кокосовый орех.

Об Улиссе не было ни слуху ни духу целых две недели, и лишь на пятнадцатый день снаружи призывно ухнула сова. Бабка, терзавшая рояль, так глубоко погрузилась в свою тоску, что не замечала ничего вокруг. На голове ее красовался парик из сверкающих перьев.

Эрендира прислушалась к зову и лишь тогда заметила шнур, который выползал из-под крышки рояля, уходил к густым зарослям кустарника и терялся во тьме Эрендира подбежала к Улиссе, спряталась с ним в кустах, и оба с замиранием сердца стали смотреть, как по утру пополз синий огонек, просквозил темноту и проник в шатер.

— Закрой уши! — крикнул Улисс.

Они закрыли, но зря, потому что не было никакого грохота. Шатер осветился изнутри, бесшумно взорвался и исчез в густых клубках дыма, который повалил от подмоченного пороха. Когда Эрендира осмелилась войти внутрь с надеждой, что бабка погибла, она увидела, что жизни в ней хоть отбавляй: в обгорелом парике, в изорванной клочьями рубахе бабка бегала по шатру, забивая огонь одеялом.

Улисс вовремя улизнул, воспользовавшись суматохой индейцев, которые совершенно потерялись из-за противоречивых распоряжений бабки. Когда они справились наконец с огнем и рассеяли дым, перед ними предстала картина истинного бедствия.

— Тут чьи-то козни, — сказала бабка. — Сами по себе рояли не взрываются.

Она пустила в ход всю хитрость, чтобы дознаться о причинах нового пожара, но уклончивые ответы Эрендиры и ее невозмутимый вид совершенно сбили с толку старуху.

Она не обнаружила ни малейшей подозрительной черточки в поведении Эрендиры и ни разу не вспомнила о существовании Улисса. Нанизывая одну догадку на другую и подсчитывая все убытки, она не спала до рассвета. Потом подремала какую-то малость, но плохо, беспокойно. Тем же утром Эрендира сняла с бабушки жилет с золотыми плитками и увидела на ее плечах огромные волдыри, а на груди — живое мясо.

— Еще бы! Ведь я не спала, а ворочалась с боку на бок! — сказала она, когда внучка смазывала ожоги взбитыми белками. — Да и сон был какой-то чудной.

Огромным напряжением воли бабка сосредоточилась, вызывая в памяти этот сон, и наконец увидела все так же четко, как наяву. — В белом гамаке лежал павлин, — сказала она.

Эрендира обомлела, но сдержала страх, и лицо ее не дрогнуло.

— Это добрый знак, — солгала она. — Павлины к долгой жизни.

— Услышь тебя Господь, детка, — сказала старуха. Потому что нам все начинать сызнава, как в прошлый раз.

Эрендира была бесстрашна. Она вымазала бабку по шею взбитыми белками, покрыла ее голый череп густым слоем горчицы и вышла из шатра с пустым тазиком. Взбивая новые белки под пальмовым навесом кухни, Эрендира наткнулась на глаза Улисса, которые смотрели на нее из-за плиты, точь в точь, как в первый раз из-за спинки кровати. Но ничуть не удивилась, а лишь сказал усталым голосом:

— Ты только и добился, что умножил мой долг.

Глаза Улисса помутнели от боли. Не шелохнувшись, он смотрел, как Эрендира бьет яйцо за яйцом с застывшим на лице презрением, молча, словно его тут нет. Глаза Улисса метнулись, оглядели разом все, что было на кухне, — развешанные кастрюли, связки чеснока, столовую посуду и большой кухонный нож. Не говоря ни слова, Улисс встал, шагнул под навес и схватил кухонный нож.

Эрендира даже не обернулась, но когда он выбежал из кухни, сказала вдогонку еле слышно:

— Берегись, она получила известие о скорой смерти. Ей снился павлин в белом гамаке.

Когда бабка увидела в дверях Улисса с ножом, она, сделав нечеловеческое усилие, приподнялась сама, без помощи жезла, и замахала руками.

— Сынок! — заорала старуха. — Ты рехнулся!

Улисс бросился на нее и нанес ей удар ножом прямо в грудь, вымазанную белками. Бабка подмяла Улисса под себя, пытаясь задушить

огромными ручищами.

— Ах ты, выродок! — задыхалась она. — Поздно я поняла, что ты злодей с ангельским лицом.

Больше она ничего не смогла сказать, потому что Улисс, высвободив руку с ножом, всадил его в бок. Исходя стоном, бабка еще яростнее набросилась на своего насильника. Улисс нанес ей третий безжалостный удар, и тугая струя крови брызнула ему в лицо. Кровь была маслянистая, липкая и зеленая, как мятный мед.

Эрендира застыла с тазиком у входа, наблюдая за схваткой с преступным хладнокровием.

Огромная монолитная старуха, рыча от боли и ярости, вцепилась в Улисса. Ее руки, ноги, даже голый череп — все было в зеленой крови. Могучее, точно накачиваемое поршнем дыхание, уже нарушенное предсмертными хрипами, заполнило все вокруг. Улиссу снова удалось высвободить руку, и он пырнул бабку в живот с такой силой, что хлынувшая оттуда кровь сделал его зеленым с ног до головы. Бабка, хватая ртом воздух, стала оседать на пол. Улисс сбросил ее безжизненные руки и торопливо пырнул распростертое тело в последний раз.

Вот тут Эрендира поставила тазик на стол, склонилась над бабкой — осторожно, боясь прикоснуться, и, когда окончательно уверилась, что бабка мертва, детское лицо ее разом отвердело, и она обрела ту зрелость взрослого человека, какую не могли ей дать все двадцать лет страдальной жизни. Быстрыми и точными пальцами она сняла с бабки жилет с золотом и выскочила из шатра.

Улисс сидел возле трупы совершенно обессиленный и чем упорнее старался оттереть свое лицо, тем сильнее оно вымазывалось зеленой жижей, как бы вытекающей из-под его пальцев. Он опомнился когда Эрендира исчезла.

Улисс звал ее, надрываясь криком, но не услышал ответа. Тогда он подполз к дверям и увидел, что Эрендира бежит берегом моря прочь от города. Напрягая последние силы, он пустился ей вдогонку с душераздирающим воплем, но то был вопль не любовника, а сына. Вскоре его свалила усталость, потому что он сам, по своей воле убил женщину. Бабкины индейцы настигли его на берегу, где он лежал ничком, плача от одиночества и страха.

Эрендира ничего не слышала. Она неслась против ветра быстрее лани, и ни один голос на свете не смог бы ее остановить. Она пробежала без оглядки сквозь обжигающий пар селитряных луж, сквозь пыль тальковых котловин, сквозь дурманную хмарь свайных селений, пока не кончились



все великие таинства моря и не наступила пустыня. Когда остались позади и сухие ветры, и неизбывные сумерки, Эрендира все так же бежала, прижимая к себе слитки золота. И никто больше не слышал о ней и никогда не встретил даже самого малого следа ее злосчастья.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

---

<b>notes</b>
--------------

# Notes

**1**

Колумбийский писатель, автор популярных песен

Друг юности Г. Гарсиа Маркеса, колумбийский писатель